

Сторона 1 – 22.41

1. Художник	– 1.12
2. Электричка	– 1.22
3. Телефонная будка	– 1.18
4. Зелень	– 1.46
5. Этот сон	– 1.21
6. Городская колыбельная	– 1.29
7. И все-таки твой	– 2.04
8. Судилище моё	– 1.19
9. Сентябрь	– 1.42
10. Я не сон	– 2.10
11. Заговор	– 1.55
12. Первопуток	– 1.21
13. Ты во мне	– 1.55
14. Пустите меня	– 1.47

Сторона 2 – 22.58

1(15). Папа, купи соловьюху	– 1.35
2(16). Рыжий конь	– 1.39
3(17). Всё понимаю	– 3.28
4(18). Не сужу	– 0.55
5(19). Память	– 1.46
6(20). Молитва	– 1.18
7(21). Всенощная	– 1.30
8(22). Что было	– 2.04
9(23). Шарманка	– 1.22
10(24). В незапамятном году	– 1.19
11(25). Родина	– 2.00
12(26). При последнем дыханье	– 1.21
13(27). Прощанье с веком	– 1.11
14(28). От и до	– 1.30

Общее время звучания – 45.39

СТОРОНА 1

ХУДОЖНИК

Ну что ж, начнем писать веселую картину,
где поезд, как пастух, гудит в свою дуду,
где возникает мост и выгибает спину,
где за окном река мерцает на ходу.

Потом напишем сад и жёлтую рябину,
старинный красный храм поставим на виду.
Пусть тучи хмурятся, едва тебя покину,
и стёкла плавятся, когда к тебе иду.

Начнём. Так веселей. Так проще и понятней,
как давний детский сон, как свист над голубятней,
простор и облака, и озорник с шестом.

Иного хочешь ты? Ну что же, дорисую

в стекляшке телефон, от будки тень косую,
а слёзы и слова оставим за холстом.

ЭЛЕКТРИЧКА

Мир отверстый, земной, заселённый,
мир пригорков, полей и дорог,
мир, где ели вбегают на склоны,
где мосты, где река поперёк,

и бегут за окном виадуки,
полустанки, посёлки, столбы
вдоль стальной прямизны, вдоль излуки,
вдоль железной дороги судьбы.

Так навстречу гремящим вагонам
пролетает, слепя и маня,
свет всем блеском своим законным,
всем сиянием летнего дня.

Ну и что же? — ты спросишь. Не знаю.
Но в окне от столба до столба
полевая мелькает, лесная
сторона, придорожье, судьба.

ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА

Телефонная будка,
Стекло автомата.
Миллионом ладоней
чёрный глянец захватан.
Миллионы ладоней,
и нежных, и грубых,
прикипают к прохладе
эбонитовых трубок.
Раздаются звонки
в отдалённых передних...
Телефонная трубка,
ты мой собеседник,
сколько слов нашепталось
для ближних и дальних
в этих крохотных
уличных исповедальнях.
Застеклённая будка,
как зов без ответа.
Сколько раз за спиною
стучала монета:
«Гражданин, побыстрее,
нам тоже по делу».
Всё... гудки...
Ничего ты сказать не успела.

ЗЕЛЕНЬ

Все начиналось на траве,
под шумною листвой, под хвоей.

Две теплоты, тревоги две,
два голоса, два сердца, двое,
затерянных в лесной глуши,
где в память о лесоповале
торчали пни, и ни души,
лишь две кукушки куковали,
как бы аукались в лесу,
да самолёт — крылатый ящер —
чертил на синем полосе,
белеющую в кронах чащи,
раскинувшей свои шатры,
где плавал ветер, зелень вспенив,
над пряным запахом коры,
над кубом сложенных поленьев,
откуда, как в далёкий путь,
раскинув руки, словно птица,
ты падала ко мне на грудь,
чтоб вместе по траве катиться.
Он был зелёным, древний рай,
зелёным, лиственным, тенистым:
вовек живи, не умирай,
внимай весёлым пересвистам.
Приди сюда и рядом сядь,
склони мне голову на локоть,
и пусть нам Каина зачать,
а после Авеля оплакать.
Вокруг листва, вокруг трава,
такая, как была когда-то.
Зелёный райский мир сперва,
потом познание и расплата.

ЭТОТ СОН

В сон врывается листва,
море лиственного леса,
кров древес, ветвей завеса,
древний облик естества.

В сон врывается, как звон,
осенняя, укрывая,
эта песня ветровая,
эти зовы шатких крон.

И несут дорогой сна
в глубь зелёного чертога,
где кончается тревога,
где сквозит голубизна.

Этот сон, как жизнь твоя,
где под ветром всё в движенье,
где повтор и продолженье
колыбели бытия.

ГОРОДСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Фонари сквозь туман.

До зари по домам
спите, граждане, горожане.
Бродит спальнями, гаражами
тишина,
ни гудка, ни дрожанья.
Тишина.
Спите, маленькие, спите, большие,
спите, люди, спите, машины,
спите, гении, счетоводы, младенцы,
старожилы, переселенцы,
спите, подъёмные краны,
водопроводные краны,
эстрады, экраны, события...
Заклинаю вас, милые, спите
со спокойной душой.
Спи, мой маленький,
спи, мой город большой.

И ВСЕ-ТАКИ ТВОЙ

Ты — родная земля и эпоха,
я — лишь капля в реке бытия,
выдох, слово одно из-под вздоха
и одно из бесчисленных «я».
Капля тает под зноем июля,
иссыкает и речь, как ручей:
в этом шумном строительстве улья,
в наслоениях времен и ячей.
В наслоениях и напластованиях,
в суете расставаний и встреч,
в поздних сумерках, в отсветах ранних,
где звучит материнская речь.
В этом царстве с багровой рябиной
и осиновой медной листвой
я, любимая, твой нелюбимый,
нелюбимый и всё-таки твой.

СУДИЛИЩЕ МОЁ

Судилище мое, ты смотришь с недоверьем.
Не надо. Улыбнись. Ладони протяни,
как дети, — к бабочкам, к дождевикам и деревьям,
как в ранний луч — листва, продрогшая в тени.

Я сам, как дерево в желтеющей одежде,
подвластное дождю, огню и топору.
Мне шагу не ступить. Суди меня, но прежде
руками обними шершавую кору.

Нет в шелесте моём ни слов, ни отговорок,
суди по совести, я у тебя в руках.
Припал к твоим ногам листвы осенней ворох,
восторг мой и тоска, любовь моя и страх.

СЕНТЯБРЬ

Память, с тобой мы бредём
в мокром плаще с капюшоном
под морозящим дождём,
по фонарям, отражённым
в лужах и на мостовой,
в тусклом асфальтном зеркале,
как же давно мы с тобой
эти огни созерцали,
как нам бродилось тогда
в этом искристом пространстве,
там, где мерцала вода
в дни и часы этих странствий,
в дни, когда всё впереди:
встреча, разлука, забота,
а фонари и дожди
как ожиданье чего-то.

Я НЕ СОН

Ты мне хочешь так много сказать
в миг печальных твоих откровений,
исчезаю бесследно, как тени.
Что мне делать? Могу лишь понять
всё, чего не запишешь в тетрадь,
я тебе не отец и не мать —
только плач, только ветер осенний.

Если можешь, пойми и прости,
мне хватает своих огорчений,
отречений и коловращений —
не развеять, не сжать их в горсти,
на свои возвращаюсь пути,
чтобы душу в полях отвести —
сон бездомный, недобрый твой гений.

Я не сон, я уже во плоти,
возвращаюсь по чашам и взгорьям,
мы долюбим ещё и dospорим,
в бесконечном сольёмся «прости».
чтоб терять, чтобы вновь обрести.
На твоём возникаю пути,
переполнен любовью и горем.

ЗАГОВОР

Как накрап на окне,
как озноб по спине,
лихорадка твоя
отдаётся во мне,

больная моя,
шальная моя,
под ладонью моей
неприкаянная.

На ветру воробей —

и тот здоровей.
Что за взгляд, что за крик
из-под луков бровей!

Два зрачка в пустоту,
две стрелы на лету,
две руки в перехлёст,
лоб в холодном поту.

Стынуть мне за двоих,
сгинуть мне за двоих
в этом пекле твоём
от ознобов твоих.

Осень в дрожи листвы,
ветер — стон тетивы,
Что мне делать, скажи,
Боже Милостивый?

То ли день, то ли ночь,
то ли сушь, то ли дождь,
кто ты, птаха моя,
ты мне мать или дочь?

Все мы в боли родня,
нет ни ночи, ни дня.
Больше так не могу,
пусть болит у меня.

ПЕРВОПУТОК

Намело бело, насугробило,
заморозило, кору покорило.
Все дороги снегами завалены —
ни тропы, ни прогалины,
рыхлой пеной ёлки намылены,
где-то ухают сосны, как филины.
А за нашими спинами
четырьмя полосками длинными
первопутка ложатся извилины,
строчки первые, строчки неровные,
немногословные.
Вслед за ними другие появятся,
кто-нибудь пройдёт — строк прибавится.
Только вьюга бы их не пригладила,
как начнет переписывать набело.

ТЫ ВО МНЕ

В эту оттепель ночную
с белым городом на дне
не рыдаю, не ревную —
ты опять болишь во мне.

Утешаюсь, чем попало —
ветром, облаком, луной,

Но, как вечное начало,
ты стоишь передо мной.

Как Всевышний, на бумаге
мир окрестный создаю,
где дороги, и овраги,
и поляны, как в раю.

Нарисую лапы ёлок,
прочерчу по небу гром:
как невынутый осколок,
шевельнешься под ребром.

Что мне тучи, что мне поле,
что мне улица в окне,
ты по мне проходишь болью:
словно пламя по войне.

Ты во мне, а где-то с краю
город, снег и проблеск дня,
и уже совсем не знаю,
как живёшь ты вне меня.

ПУСТИТЕ МЕНЯ

А в доме напротив — свет,
из подворотен — свет,
в окнах завешенных — свет,
а на улице — снег,
тёплый, песцовый.
В доме напротив — смех,
в оконных квадратах — смех.
Пойду, я не хуже всех.
Пуškai на дверях засовы.

Я бы, конечно, мог:
«Пустите меня, я — бог.
Пустите меня, я — пророк.
Я — ваш дядя покойный».
Так ведь попрут за порог,
скажут: «На кой нам бог? —
скажут, — на кой нам пророк?
Дядя, — скажут, — на кой нам?
Вы, гражданин, нетрезвый.
А может, головорез вы?»

Ладно, я не пойду.
Я постою и пойду.
Так на беду и пройду — незнакомый,
уважая замки и законы.
Разве что снова сюда занесёт
в Три Тысячи Девятьсот
Шестьдесят Пятом году.

ПАПА, КУПИ СОЛОВЬИХУ

— Плохо ему одному.
Папа, купи соловыху.
Очень нужна соловыха.
Слышишь, как в клетке тихо?
— Вижу: плохо ему.
Ни зёрен, ни солнца не хочет
серый комочек.
Разве дождёшься свиста,
победоносного зова?
Серое тельце мглисто,
тщедушно, круглоголово...
Песня забрана в прутья,
тиха, как вода в запруде.
Сколько ни сыпь зёрен,
не запоётся в позоре,
не запоётся в горе.
Это совсем не от спеси.
Пробкой сидит в горле
пленная песня.
Разве взовьется вихорь,
нам с тобой потакая?
— Папа, купи соловыху.
— Купим, дружок, попугая.

РЫЖИЙ КОНЬ

Рыжий конь скакал вдоль тракта
с перебором на три такта:
так-так-так, так-так-так так-то...

Сон мой детский, вихревой
грива чёрной бахромой,
белоногий, без дороги по прямой.

Было песней — стало бытом,
степь стонала под копытом,
пыль слепит, дёрн прибит в битум.

По прямой, вперёд, в галоп.
Мина мимо, пуля в лоб,
Синь — потопом, Тени, топот. Стоп...

Это было, это снится, —
ветер, травы, броды, лица,
гром погонь, рыжий конь — птица.

Ах, как ноет под ребром!
Чашей вогнут ипподром.
Ближе, ближе, друг мой рыжий, в горле ком.

Марш! Но замкнута кривая,
путь — конечный круг трамвая,
здесь игра, свист и грай с края.

Рыжий, вспомни обо мне,
я — тот всадник на коне.

Резвым бегом — топью, снегом, как во сне.

ВСЁ ПОНИМАЮ

Я понимаю: уходят и не вернёшь.
Криком кричи. Вольно ж об стену биться.
Всё понимаю: друзья — в темноту,
женщина — в пустоту, как на лету птица.

Всё понимаю. Нет ничего без конца.
Общие улицы кончились, общие тротуары
кончились у крыльца (а верней — у подъезда),
общие звёзды, общие споры, общие свары.

Всё понимаю. Кончилось — не начать.
Кто виноват? Жизнь ничего не продлила.
Здесь ни на целое не посягнешь, ни на часть.
Всё понимаю. И всё-таки несправедливо.

Несправедливо! — кричу, и ломается крик.
Ты-то при чём? Ты-то при чём? Ты-то?..
Рот для чего-то открыт, а голос охрип.
Тихо.

Нет... ничего... не надо бежать за врачом.
После я всё объясню спокойно и с толком.
Боль под ребром. Боль в позвонках, Но ты-то при чём?
Это меня долбануло когда-то осколком.

Вот и живу. Живу, куда живой.
Вот и кричу — весь ветрами продут, как ветрило.
Солнцем кричу, травой кричу, синевой.
Всё понимаю. И всё-таки несправедливо.

Почты не будет. Писем я всех не прочёл.
Листьев не будет. Снегов голубого отливы.
Ты ни при чём. Кто же при чём? А никто ни при чём.
Всё понимаю. И всё-таки несправедливо.

НЕ СУЖУ

Из милости не любят,
не любят, не ревнуют,
а лишь с плеча не рубят
И нехотя целуют,
из милости жалеют,
из жалости милуют.

Сперва не приходила,
потом не поглядела:
«Прости, я разлюбила...»
Да разве в этом дело?
Ведь мы весну не судим
за то, что отшумела.

ПАМЯТЬ

Любовь моя, позволь
держаться в отдаленье,
где образы — не боль,
а болеутоленье,

где дождик без затей
на гравий льётся чёрный,
где делит сталь путей
две мокрые платформы,

как будто наголо
четыре эскадрона...
И что нас развело
на разных два перрона?

Не помню я, дружок,
не помню я, не знаю,
но рельсы, как ожог,
как рана, как сквозная.

И гром товарняка
свой зыбкий хвост расстелит,
уже наверняка
навек нас разделит.

За гулкою стеной
переплетенье веток,
и ты передо мной
в мелькающих просветах,

и мокрый блеск волос,
и свет лица неверный,
и всё уже слилось —
вагоны и цистерны,

лучи, дожди и снег,
и дней гремящих звенья,
и память, что навек
осталась во спасенье.

МОЛИТВА

В эти дни, когда нам не до жиру,
быть бы живу, дух перевести,
Господу, даруй спасенье миру,
где добро и разум не в чести.

В эти дни, когда нам не до славы,
только бы напасти отвести,
вразуми нас тёмных, Боже правый,
неразумных грешников прости,

и на зимнем белом раздорожье,
где клубится лёгкий снежный дым,
дай глупцам своё терпенье, Боже,

дай увидеть истину слепым,

проводи блуждающих над бездной
и на кряже появись крутом
семицветьем радуги небесной,
сизой тучей, огненным столпом.

Посв. Погибшим от теракта в Ту-154

ВСЕНОЩНАЯ

Опять рассыпают огни
церковные тонкие свечи.
Вовеки, Господь, сохрани
хоть искру любви человеческой.

Но злоба в речах площадных,
проевшая душу оскома,
пожара грядущего дых,
пророческий рокот погрома.

Я вижу сполохи огня
в давно отпылавших именьях,
и скорбно глядит на меня
с распятия мой соплеменник.

Неужто умчат корабли
в чужие бескрайние шири
от проклятой Богом земли,
от этой единственной в мире?

Безгрешная душ высота
исходит молением, так что же
Антихрист похож на Христа?
Помилуй нас, Господи Боже!

ЧТО БЫЛО

В дни горечи, в дни озверенья
шла оттепель, капало с крыш,
под осень варили варенье,
и пели на свадьбах «Камыш»,

и пели, и пили, и ели,
ложились попарно в постель,
глotalи рассолы с похмелья,
и кутали горло в метель.

Что было? Всё было как надо:
в дни праздников, в блеске побед
салютов цвела канонада,
оркестры гремели в ответ.

Давнишняя горечь веселья,
холодный полуночный страх,
барачная цвель новоселья,
могилы в далёких снегах,

и нет ни креста, ни таблицы
ни там, ни над глиной траншей,
лишь время безжалостно длится,
лишь ветер коснётся ушей.

Что было? Что было, то сплыло,
но слышалось пенье скворца,
травой порастала могила,
и славили птицы Творца.

ШАРМАНКА

Тот ящик одноногий,
обшарпанный такой,
топтался на пороге
с протянутой рукой,

и старичок в ермолке
свой совершал помол:
на этой кофемолке
судьбу свою молол.

Качались волны звука
у самого окна:
разлука ты, разлука,
чужая сторона.

Ладов унылых хрипы
кто помнит в наши дни,
и тень дворовой липы,
и старика в тени?

В НЕЗАПАМЯТНОМ ГОДУ

Это было ещё до Второй мировой,
до великой войны, до поросших травой
и закутанных в дым очертаний.
Нам известно теперь, что случилось потом,
но стоит до сих пор мой родительский дом,
и слова застревают в гортани.

Но стоит до сих пор в той далёкой поре
двор в зелёной листве, майский день на дворе,
а под вечер сирень у забора
танцплощадки дощатой в саду городском,
где никто нам не скажет, что будет потом,
что случится и, может быть, скоро.

В ту весну танцевали в саду под луной,
а кого — уводил в неизвестность конвой,
что известно и старым и малым.
Всё известно, но давней весны облака
не привидятся вам, не терявшим пока
целой жизни — вон там — за провалом.

РОДИНА

Даже птицы тянутся туда,
где разрушен быт их прошлогодний.
Как бы крыша ни была худа,
мир просторен, а под ней свободней.

На чужбину гнали холода,
путья гнёзд развеяли метели.
Даже птицы тянутся туда,
где когда-то в первый раз взлетели.

Зеленеют пальмы под крылом,
голубеют горы над заливом.
Вот и приземляйся. Чем не дом?
Будешь здесь беспечным и счастливым.

Но исчезли пальмы без следа,
и залива синего не стало.
Сердце птицы тянется туда,
где торчат морщинистые скалы.

Старый дом прибоями размыт,
Океан холодный без предела.
Спросишь — разве птица объяснит,
почему она сюда летела?

ПРИ ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНЬЕ

В нашем снежном ненастном квартале,
в зябком царстве земных непогод
время ринулось вниз по спирали,
словно в штопор попавший пилот,

и уже мы в пространстве не прежнем
и во времени тоже другом,
даже если лежали мы лежнем,
в прошлом веке остался наш дом,

всё осталось — и радость и горе,
всё чужое прошло и своё,
и святой змеборец Егорий
опускает с размаха копьё.

Всё, что было, лишь буря в стакане,
даже всплеск океанских зыбей.
Третий Рим при последнем дыханье
шевелит позвонками, как змей.

ПРОЩАНИЕ С ВЕКОВОМ

Вот и кончается эта пора,
строчка истории нашей,
сколько режимов сошло со двора,
сколько их выгнали взащей.

Что-то не помнится благодных лет,
что-то опять лихорадит.
Всё-таки прожил я дольше, чем дед,
может быть, дольше, чем прадед.

Прожил, да только всему есть предел,
если подрезаны крылья,
сила — когда ты себя одолел,
всё остальное — насилье.

ОТ И ДО

От первого крика до вечного сна
зима белоснежна, весна зелена,
а летом то ливни, то синий зенит,
а осенью жёлтая заметь летит.
Отпели метели, и вновь соловьи —
от первой любви до последней любви.
Единственный мир, удивительный, мой,
качается летом, кружится зимой,
ничто не вернётся — зови не зови —
растают снега, улетят соловьи,
и снова ненастье, и снова, мороз,
и снова сверкание капель и гроз,
и травы восходят, как Спас на Крови,—
от первой любви до последней любви.